

Алесь Адамович

Партизаны

Сыновья уходят в бой



ФТМ

Партизаны

Алесь Адамович

Сыновья уходят в бой

«ФТМ»

1963

Адамович А. М.

Сыновья уходят в бой / А. М. Адамович — «ФТМ»,
1963 — (Партизаны)

«...Полицаи сидят, сбившись, как овцы в жару. А некоторые в сторонке, с этими остальные полицаи стараются не смешиваться. Этих расстреляют определенно – самые гады. Вначале в разговоре участвовали только партизаны: смотрят на полицаев и говорят как о мертвых, а те молчат, будто уже мертвые. Потом несмело начали отвечать: – Заставили нас делать эту самооборону. Приехала зондеркоманда, наставили пулеметы... – Слышали, знаем ваше «заста-авили»!.. И тебя – тоже? Вопрос – сидящему отдельно начальнику полиции. Под глазом у него синий кровоподтек. Когда, сняв посты, вбежали в караульное, скомандовали: «Встать!» – этот потянулся к голенищу, к нагану. Молодой полицейский схватил его за руку, а Фома Ефимов подскочил и – прикладом. – Та-ак, господин начальник... В армии лейтенантом был? Главный полицейский молчит, а бывшие подчиненные хором заполняют его анкету...»

Содержание

Часть первая	5
I	5
II	14
III	21
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Александр Адамович Сыновья уходят в бой

*Потухай, вечерняя заря, потухай,
Залегай, хлопцы, по оврагам, залегай!
Долго, долго заря не потухала,
Партизанскую беседу услышала:
«На зеленом болоте орленку не жить –
Удалой тебе головы, сынок, не сносить.*

*Удалую голову высоко не подымай,
Родимую матушку не забывай...»
Пулеметная очередь часто застрочила,
Молодая березка листочек уронила.
Молодая березка зазеленеет опять...*

Из народной песни

Часть первая Уже шестнадцать

I

Толстые темные ели как часовые. Будто передают тебя от поворота к повороту. Толя остановился у соснового пня, облитого льдом. Ничего площадочка – хату можно поставить! И как только спилили этокое деревце. Стал на пень, прошелся. Четыре шага. Посмотрел на облака, пробегающие в небе. Глянул на уходящую вдаль просеку. Так и кажется, что проложила ее рухнувшая сосна.

– Силен лес! – похвалил и как бы похвастался Коваленок.

Силен, конечно. Но было бы удивительно, если бы партизанский лес был обычный. А Ковалёнок здесь как дома, позавидовать можно. Полушубком где-то разжился, полы широкие, а выше – как раз по его девичьей талии. Шагает, сбивая каблуками хромовых сапог звонкие комочки мерзлой грязи, льда. И сам – звенящий, поскрипывающий: опоясан ремнями, украшен пряжками, даже свисток зачем-то на груди болтается. И ямки у рта, и шутовские усики-ниточки – все такое разванюшинское, знакомое.

Началась грабовая роща. Сразу посветлело в лесу. После хвойной зелени сучья граба такие голые, мертвые. Голубоватая и будто с подтеками кора заставляет вспомнить открытые всем дождям холодные печи в сожженных Выюнах. Там Толя жил последние две недели. А где-то в Лесной Селибе помнят, думают о нем, как о настоящем партизане.

Проревел совсем недалеко самолет, высыпал крупную пулеметную дробь.

– Начинается, – говорит Ковалёнок, сразу загораясь.

Все-таки хорошо, что Толя уже в партизанском лесу. И пост остался позади. Тут можно быть спокойным: партизаны знают, что надо делать, когда немцы близко.

Впереди заиграл просвет. У дороги собралось несколько неприбранных мартовских березок. Кажется, они сбежались, а потом удивленно расступились, образовав круг. А в кругу на

обледенелых прошлогодних листьях, чернеющих в ноздреватом, как обсосанный сахар, снегу, играют солнечные блики. Показалось даже – звенят.

Из-за поворота на дорогу вышел человек с автоматом под локтем, остановился, кого-то поджидая. Очень бледное лицо человека кажется совсем меловым от спадающих на лоб из-под кубанки волос, от черного мазка квадратных усиков. И в одежде он такой же черно-белый: короткая, отороченная белым мехом венгерка, белая кубанка с черным верхом, темное галифе.

Глаза выпуклые, черные до блеска.

Толя уже видел однажды эти горящие выпуклые глаза. Это Сырокваш, начальник штаба.

Мимо пробежали двое с винтовками на весу. А из-за поворота идут и идут партизаны. Толя с гордостью отмечает: много пулеметов. У рослого пулеметчика, посмотревшего на Толю, красивая черная борода, хотя лицо румяное, молодое.

– Откуда, Разванюша, немцев ведешь? – спрашивает у Коваленка Сырокваш, и на лице его вспыхивает короткая усмешка. Толя с готовностью ответил на улыбку партизана. О, Толя понимает, как это хорошо – идти навстречу бою и шутить.

– Разрешите с вами! – выкрикнул Коваленок. Зачем-то поправил белые отвороты хромовых голенищ: можно подумать – его пригласили в круг танцевать.

У Толи нет оружия. Кроме того, его ждут в лагере...

– Иди, наш будан¹ первый, – говорит Коваленок.

Где-то на краю леса снова взревел самолет, сбросил бомбы, эхо закричало и понеслось по лесу. Совсем недалеко отстукивает короткие очереди пулемет.

Мимо уже бежали. Вот и Комлев, дядька Разванюши, грузный, с тяжелым взглядом. Алексея не видно.

Сразу за поворотом большущий шалаш из побуревшего елового лапника. Вот оно – партизанское жилье. Толя несмело заглянул в огромный будан.

По обе стороны – отгороженное бревнами место, где спят. Цветные домотканые постилки, серые и зеленые немецкие одеяла, тулупы, ватники. В дальнем углу – ярким пятном – светло-желтое стеганое одеяло. Толя сразу узнал свое и обрадовался, будто знакомого увидел.

А в проходе, в трех местах – толстые обгоревшие березовые плахи. Видно, что костры наскоро присыпали снегом, и они все еще тлеют.

Закинув голову, Толя смотрел на гирлянды саж, колеблющиеся от теплого дыма. Грубо, огромно, неудобно и захватывающе – как замок!

Потрогал ствол станкача, прикрытого красной попоной. Прошел в глубь будана. Шаги у входа. Повернулся – мама!

Обрадовалась и напугалась:

– Вы там шли, немцы там!..

В плюшевой жакетке, в сапогах, без платка. Лицо незнакомо молодое. И очень озабоченное. Как будто она все еще в Лесной Селибе – окно в окно с комендатурой, как будто не позади все самое страшное!

– Ноги промокли?

Ну, допустим, промокли. Но из-за этого такой озабоченной быть?

– На – сухие, – говорит мать, доставая из вещмешка чистые портянки. – Как это мы не сообразили хоть сапоги хорошие сделать. Все оставили, как в гости шли.

– Сапоги – подумаешь! Достают же. Немецкие.

– Это дома все так казалось.

Про Алексея сказала тихо:

– Ушел на железную дорогу. С Пахутой, с подрывниками.

¹ Шалаш (бел.).

Взяла из угла санитарную сумку, раскрыла. Толя заглянул:

– О, индивидуальные пакеты! Я возьму.

– Зачем? – даже сердито сказала мать. Но тут же подала перевязочный пакет.

Толя прикинул, что ему, сыну, можно и больше.

– Два возьму.

Мать молчала, только как-то странно смотрела на руки Толи, который с удовольствием ощупывал плотные провощенные пакеты.

Подумала вслух:

– Сегодня одиннадцатый день, как пошли на железную дорогу.

Мама уже вся в том, особенном мире, где, Алексей, некий Пахута, где Сырокваш и все, кто бежали навстречу выстрелам.

– Я в санчасть. Немцы близко. Переобуйся.

Толя быстро сменил портянки, еще раз – уже по-хозяйски – осмотрел станкач, и вышел.

Стрельбы не слышно... В голубом небе легкие комочки облаков. И, кажется, потеплело. С черных от сажии сосулук, свисающих над входом в будан, каплет. Толя подставил ладонь: светлая водичка, а в ней бегают сажинки.

По дороге, мелькая за соснами, едут верховые. Передний – круглолицый, полноватый. Воротник – каракулевый, кубанка – тоже. Пришпорил коня, и сразу стало заметно, что ездит плохо: автомат бьет по груди. Двое задних сидят на лошадях ловко, легко. У каждого к ноге пущена длинная сверкающая цепочка от пистолета.

Совсем недалеко ухнула бомба или мина. Эхо прошелестело в вершинах и унеслось.

Толя пошел по глубоко протоптанной снежной дорожке. Везде горбятся буданы. А вот это – кухня. Костры присыпаны снегом. Две женщины чистят картошку и бросают в железную бочку. На жерди висят котлы – два больших и один поменьше.

Толя стесняется подойти к кухне поближе: удивятся – откуда такой!

Из будана вышел мужчина, над плечом, как гитару, держит большущий кусок мяса – коровью ногу. Наверно, повар. Бросил мясо на пень и взялся за топор. Лицо у повара сердитое и как бы обиженное. И странно красивое. Даже непонятно: зачем мужчине такое красивое лицо? Удивительно голубые глаза, будто ободком обведена эта голубизна. Капризно-сердитое выражение тоже словно нарисовано на лице, и кажется, что ничего другого оно не способно выражать.

Снежная тропинка вывела Толю к штабелю полусгнивших, будто сросшихся, березовых и осиновых плах. Слежавшийся штабель привалился к сосне. Необыкновенно толстая сосна, а глянешь по стволу – стройная, летящая... Если долго смотреть, начинает казаться, что взлетающий ствол поднимает, уносит и тебя.

Делая метки на коре, темной, потрескавшейся, будто куски торфа, Толя принялся считать обхваты». Пять! Услышал скрип снега.

– Менш! – крикнул по-немецки человек, чем-то очень знакомый, и тут же спокойно поинтересовался: – Ты кто такой?

Толя покраснел от того, что чуть не сорвалось: «Моя мама здесь». Но что еще сказать о себе, он не знал и потому молчал. На голове странно знакомого незнакомца новенькая фетровая шляпа. Рука, обмотанная бинтами, – поперек груди, как автомат. Толя где-то видел, помнит эти беспокойные, веселые и одновременно пустоватые глаза, это гримасничающее лицо. Ну конечно же Баранчик! «Брандахлыст» – так его окрестил дедушка, когда Баранчик заделался селибовским бургомистром, бегал, орал, тарасил глаза. А потом исчез, оставив в дураках коменданта и полицаев... И вот он здесь, и Толя тоже здесь. Партизанский лес – самое фантастическое место на земле. Не удивишься, наверно, если давно умершего здесь встретишь.

– Ага, – догадливо произнес Баранчик, плюнув вслед окурку, – Корзунихин.

И пошел по снежной дорожке: Толя – следом за ним туда, где мама и толстая женщина выколачивают одеяла.

– Ка-ак вы-ыросли ваши! – певуче удивилась тяжелая на вид, но быстрая в движениях женщина, когда Толя приблизился. – Почти как мой Митя! А мама у них такая молодая!

– Я сейчас, Пашенька; – сказала мама и передала концы одеяла Толе. – Помогай!

Ушла, кажется, мало заботясь о том, что Баранчик да и другие могут подумать, что Толя затем и в лагерь явился, чтобы выколачивать пыль из тряпья. Женщина, энергично встряхивая одеяло, разговаривает с Баранчиком.

– Завтрак, Мишенька, остыл, где ты все ходишь?

– Половец обещал голландского сыра привезти. И французского вина.

– Привез бы голову Половец твой!

Баранчик исчез в темном будане, и сразу там послышались выкрики, смех.

Женщина сложила одеяла, нагрозила и Толю.

В этом будане прежде всего замечаешь вделанное в заднюю стенку окно. Обыкновенное окно На здесь, в лесу, оно кажется такой роскошью. Не костры, а две жестяные бочки с выведенными наружу трубами.

Баранчик и партизан с белой – в бинтах – головой сидят у печки.

Толя стоит, не знает, что делать с ношей.

– Клади на нары, – пропел голос сзади, и сразу все ожило. Толе показалось, что маятник ходиков только теперь размахнулся и затакал. И сразу партизан в бинтах из страшного сделался смешным. Из-под повязки торчит рыжий клочок волос, нос – толстый, посапывающий, а глаз, не закрытый повязкой, – веселый.

– Паша, – прокричал Баранчик, – когда Лысого бинтами обматывали, там голова была? Или не заметили?

Из-под бинтов отозвалось:

– Поищи у себя под шляпой.

– Менш! – захохотал Баранчик.

На дворе нетерпеливый голос:

– Где же он?

Надя. Толя заспешил из будана.

– Как мои маленькие? Ты давно был в гражданском лесу?

Толя старается убедить тревожные глаза женщины, что в гражданском лагере не опасно. Надя напряженно слушает, но не Толю, а недалекую стрельбу.

... И вот появились *оттуда*, из боя. Не слезая с лошадей, разведчики раздаривают улыбки, новости. Оказывается, окончилось все удачно. Немцы и бобики возвращались из горячей деревни, тут их и встретили. Полицаи рванули в обход засады, по болоту. И немцев своих бросили. Только начальник полиции с немцами остался. Его подстрелили, живьем взяли.

Партизаны затопляют лагерь, лес наполняется голосами, смехом, как гулкий просторный дом, в который воротились хозяева.

Постепенно скапливаются у штаба – будана, который чуть поменьше и поаккуратней остальных. Сюда привезут начальника полиции.

На выбоинах телегу встряхивает, человек в зеленом мундире, напряженно приподнимаясь, стонет громко и протяжно. Глаза его будто забегают вперед, испуганно ищут что-то и не находят. Ни на одном лице не могут задержаться. Штанина разодрана, волосатая нога дрожит крупной дрожью. Чуть ниже колена – кровавое пятно. Подумалось вдруг: человек, который лежит на возу и смотрит на партизан, сегодня утром, поднявшись с постели, считал, что начался обыкновенный день. Умывался, сидел за столом, шел по деревне – уверенный, сердитый. Как же – начальник полиции! А потом вел своих бобиков в Зубаревку, из окон на него смотрели с ненавистью и страхом. И не думалось ему, что в какой-то миг, но сегодня, именно

сегодня, все вдруг исчезнет и останется только он и вот эти люди, которые сейчас рассматривают его, – партизаны. Вся та жестокая, свирепая сила, которой он служил, ничего не значит теперь. Значение имеет лишь то, о чем он старался не думать, с чем отвык считаться: как на него смотрят люди, которым он был свой (когда-то был). С отчаянной настойчивостью липнет он глазами к жестоко-веселым лицам, спрашивает:

– Вы меня убьете?

Толю тронули за плечо. Застенчиков! Настоящий партизан: винтовка, зеленая сумка от противогаза и еще одна – из кирзового голенища. С трофеями вернулся из боя. Правда, по обыкновению, чем-то недоволен, белый до прозрачности нос его морщится. Толя обрадовался, что встретил знакомого, что может подробнее разузнать о засаде.

– Было, – протянул Застенчиков. – Надо идти пожрать, а то посуду расхватают.

– А это кто? – прошептал Толя, когда к подводе приблизился человек в кожанке с каракулевым воротником. Толя уже видел его – в седле. Мяголицый, глаза светло-голубые. Внешность человека очень добродушного.

– Колесов, командир.

Нет, Толя не был разочарован. Он мигом увидел в полном добродушном человеке то, что необходимо командиру партизанского отряда: спокойную отвагу, твердость. И уже во все глаза смотрел на Колесова.

В будане обедают. Жирный мясной суп и тонкий ломтик гречневого хлеба.

– Это Анны Михайловны сынок?

Щека у партизана, который остановился перед Толей, синяя, посеченная порохом, на широких плечах что-то напоминающее морской бушлат, брюки широченные и, кажется, даже отглаженные. Это Зарубин. Еще когда шли, ехали из Лесной Селибы в партизаны, Толя видел этого парня и потому считает, что знаком с ним.

– Толковый у тебя братишка, – говорит Зарубин, – он на железку пошел с Васей-подрывником. Знаешь? Ну-ну. А где мой трофей? Ну и фрицы, с одеялами в бой ездят!

– Парус, Петя, кроить будешь? – отозвался одетый во все немецкое партизан. Он шупловат, усмешка не согревает его помятое и пятнистое лицо, а, наоборот, делает еще более неласковым. – Ленты приточи к своей кепочке, а то девки за фезеушника принимают.

– Ладно тебе, Носков, – говорит Зарубин и поправляет фуражку с оторванным козырьком, которую, видимо, следует считать бескозыркой. – Обождите, – говорит «моряк», – скоро полосуху займею. У Анны Михайловны видел – выклянчу.

«Моряк» весело глядит на Толю, а тот очень доволен, что Алексеева тельняшка понравилась партизану, наверно очень храброму.

Носков выловил из котелка кусок мяса, долго жевал его, потом выплюнул в костер. Принялся намазывать на хлеб масло из оранжевой трофейной баночки.

– И когда уже волов этих доедят лагерные придурки? Кожемит. Постарались на свою голову. Пусть бы жрали немцы, скорее бы подошли.

– Соскучился по поросятнике? – спросили у Носкова. – А баранинки из-под дуги не хотел?

– А что! – Носков посмотрел в сторону соседа, такого же шуплого, как сам он, и тоже в немецкой шинели. – Правда, Серега? Вернули дядькам сотенку коров, могли бы и отблагодарить. Как в сорок втором, помнишь? Колхозное еще было. Надо сапоги смазать, отполосовал ремень от хряка и – пожалуйста.

Веснушчатый, рыжеватый партизан сцеживает из котелка в ложку суп и молчит. А Носков не унимается:

– Вот Серега Коренной потрудится, подумает и скажет самую правду.

Коренной поднял глаза, сощуренные, как от головной боли. Попросил:

– Отстань, Николай, не помню я такого сала. До чего же ты мастак...

Не досказал и пошел мыть котелок.

– Знаешь, дружба, – подошел к Толе «моряк», – тебе бы дровишек порасстараться. Ребятки, знаешь, устали, послужи! Где? Ну, посмотри там.

Зарубин поморщился и махнул рукой куда-то в угол будана. Весело рассмеялся наблюдавший за ним партизан, самый пожилой из всех, но очень подвижный, легкий. Его все окликают: «Дед» или «Бобок».

– Ай да «моряк», он еще не знает, на каком свете дровишки те! – говорит дед Бобок. – Петя наш такой: лучше каши не доложь – на работу не тревожь.

А Толе пояснил:

– По дорожке. Штабеля там.

– Под большой сосной, знаю, – радостно откликнулся Толя. Старик ему сразу понравился, хотя в нем нет ничего партизанского, обыкновенный деревенский дядька, даже нос «бульбочкой».

Вернувшись с двумя плахами, Толя увидел мать.

– Мы сынка вашего, Анна Михайловна, в наряд вне очереди, – весело сообщил, «моряк».

– Что ж, – улыбнулась мать, – пусть привыкает.

Интересно, к чему должен; Толя привыкать? Дрова таскать?

– Вот и Серега Коренной, был тогда. – Голос Носкова. Голос этот совсем не громкий, даже сиплый, но какой-то очень требовательный, настойчивый, и его обязательно услышишь. – Помнишь, Сергей? Кругом немцы, зажали, одним словом, кончаем воевать. А командир отряда сел на автомат: я уже не я... Кадровики наши, Сырокваш да Петровский, вывели...

Разванюша не выдержал, хохотнул.

Сергей Коренной поморщился, пробормотал недовольно:

– Какой ты, Носков, охотник болтать почему зря! – И тут же, распалившись, заговорил громко в сторону Разванюши. Даже приподнялся. – Что бы там ни было, а Колесов с сорок первого в партизанах. Кое-кому надо еще походить да походить, а уже потом хихикать. – В упор глядя на Разванюшу, с растяжкой закончил: – Не прикидывал два года, чья возьмет.

Впервые Толя глядел на партизана с опаской, как на чужого. А Разванюша – хоть бы что! Спрятался за улыбочку. Краснолицый Комлев, тяжелый, как намокший дуб, загудел:

– Один послал в полицию, другие будут до смерти попрекать. И до войны вот так: сегодня ты хороший, а завтра уже виноват, не успеваешь голову поворачивать – туда, сюда...

– Ага, во-от что! – Сергей Коренной даже побледнел. – Слышали мы эти разговорчики. – И закончил, обжигаящим шепотом: – Если воевать, если принимать, так все, а не так: это – готов, то – не хочу. Видел я таких и в первые дни. А из кого же понаделали власовцев да бобиков?

Комлев тяжело поднялся, но тут же снова сел.

– Вот так – и сиди! – сказал Сергей Коренной и от волнения тоже сел. А Разванюша улыбается. Наступая на костер, пробрался в угол, взял гармошку. Стал искать что-то на ладах. Долго не мог найти.

Прижимая полы длинной кавалерийской шинели, прошел командир взвода Вашкевич. Его место на нарах выделяется: попона вместо одеяла, седло вместо подушки.

Поискал кого-то глазами, спросил:

– Лошадь поена? – Сердитая нотка дернулась в голосе командира. – По-моему, нет.

Отозвался Застенчиков:

– Меня на пост послали.

«Моряк» зачем-то взялся ворошить разгоревшиеся дрова – сноп искр радостно взлетел вверх. Искры жадно налипают на сажу, расползаются. На Зарубина шумнули:

– Петя, пожару наделаешь.

– А, стой!.. – поморщился Зарубин. – Ну, ладно, не пошел на дело: нога там, животик... Так и на реку не съездил. Стрельбы, может, испугался?

Суетливый дед Бобок сыпнул скороговоркой:

– Попал в хорошее место – воюй! – И засмеялся одними глазами, хитрыми, стариковскими. – Берка, сапожник наш, сына своего мне ругал, – стал пояснять Бобок. – Попал сын на бронепоезд, так нет, проштрафился, его в пехоту. И убили. Бедный Берка, как вспомнит, сразу: «Попал в хорошее место, так воюй, зараза!»

Толя вышел из будана. В лесу уже ночь. Деревья как-то сдвинулись, беспокойнее шумят вершины. Звезды расползаются по черному небу, зажигаясь одна от другой, как искры на саже. Мерцают огни в соседних буданах. Вернулся в свой. Тут уже укладываются спать. Оружие ставят к задней стенке или кладут возле себя.

Кто-то поинтересовался:

– Где Зарубин?

Старик Бобок хмыкнул:

– Будет тебе Петя сидеть, когда там полиция кончают.

– Ложись, – вполголоса говорит мать, не подозревая, наверное, как интересно сегодня для ее сына и это – ложиться спать. Первая ночь в партизанах!

Тепло, уютно под мягким ватным одеялом, которое предусмотрительная мама все же прихватила из дому. Тут, на морозе, оно точно короче сделалось, но ничего, греет. Только лучше бы укрыться трофейным или шинелью, а поверх – попоной, как командир взвода.

На ночь тут не раздеваются, только расслабляют ремни на себе. Толя тоже лишь пальто да сапоги снял. Ушанку пришлось оставить на голове: зеленая стенка пропускает морозный ветерок.

... Пришел Зарубин.

– Что, Петя? – спросил Бобок. – Ножичком? Сколько ты уже нанизал на него?

– Порядок, – ответил Зарубин и, не спрашивая, взял из чьих-то губ сигарку. Толя со сладким ужасом и с уважением смотрел на человека, *который только что убил*. Но лицо Зарубина все такое же: простовато-грубое и, пожалуй, добродушное. Только глаза – потемневшие, да синяя контуженая щека чуть дергается. И Пуговицына, говорят, – он...

Все меньше людей топчется в проходе, светлее стало. И разговор сделался общий.

– Вот Головчене лафа: бороду на живот – и тепло.

– Ты, Головченя, только не задумывайся. – Это Бобок весело скрипит стариковским голосом. – У одного деда спросили: «Когда спишь, куда ты бороду ложишь, под одеяло или поверх?» Задумался дед. Пока не думал, не мешала. А тут: и так и этак попробует – все не то. Хоть плачь. Обрезать пришлось.

На дворе – девичий голос. И мужской. Будто перебрасывают смычок с тонкой струны на басовую.

– Эй, Зарубин, Катю перехватил Царский. Слышишь? Давай наперерез.

– Сама отобьется, – радостно говорит Зарубин. – Во-о, слушай!

Заученно грубые, мужские слова. Но звучат они на первой струне – голос нежный, девичий.

– Во-о! Катюша скажет – на уши не натянешь.

Отбросив постилку, которой завешена дверь, вбежало беловолосое существо в грубом черном джемпере. Самое ненужное на этой особе – короткая юбочка поверх мужских штанов. Кажется, Толя уже видел эту Катю возле кухни.

– Можно?.. Ой, я уже вошла!

На какое-то время глаза девушки прикипели к яркому пламени, круглое лицо ее сделалось по-детски бездумным. Но тотчас изломилось в улыбке – смелой, грубоватой.

– Живы-здоровы?

– Ты не меня? – сиплый голос Носкова. – Кто со мною за малиною пойдет, покажу, где сама сладкая растет... Да, Катюша?

– Нашелся кавалер, правда, Катюша? – «Моряк» попытался усадить девушку рядом с собой. Но она, черт бы ее побрал, Толей заинтересовалась.

– Откуда такой мальчик?

Толя быстренько закрыл глаза. Спит. Чувствовал, что краснеет. Во сне краснеет – глупо.

– Красивый мальчик.

Она уже рядом. Слышно – оперлась руками на нары, дышит Толе в лицо.

– Спит, – весёлый голосок. – Ой, это ваш, Анна Михайловна!

Толя открыл глаза и совсем близко увидел бездумно-смелые, смеющиеся глаза.

– Не спит, – насмешливо сказала девушка и поднялась с нар.

Только она ушла, как влетело что-то большое и стремительное. Эту встретили шумно, но и ласково: «Марфа!», «Марфушка!» А она, огромная от мечущегося за спиной крыла тени, отвечала сразу всем, улыбалась сразу всем, смотрела сразу на всех.

– Здравствуйте, Анна Михайловна. Ну, как они без меня, слушаются? А-а, Молокович, любовь моя. Ну, как ручка? Хорошо, что мы не поспешили укоротить ее.

– Марфа Петровна это умеет, – сказал Молокович, молодой партизан с лицом, вытянутым как бы от постоянного удивления. – Навалится и держит.

Прозвучало это почти обиженно.

– И что за хлопцы пошли: чуть прижмешь – убегают! – Женщина громко смеется. Глаза на широком, очень даже просторном лице теснятся к переносице. Но бурная ласка, излучаемая этим лицом, глазами, делает женщину почти привлекательной.

– И кто только меня, такую большую и плохую, замуж возьмет? Одна надежда на Ефимова, на Фомушку милого. Где он ходит? Не знаете?

При упоминании о каком-то Фомушке весь будан радостно загудел.

Ушла женщина так же неожиданно, как и ворвалась. Засыпая, Толя слышал голос командира взвода:

– За сажей присматривайте, дневальные. Задремал, но, как ему показалось, тут же открыл глаза, вздрогнув от какого-то крика. Нары завалены людьми. Все, кроме дневального Зарубина, спят. Странно: «моряк» будто и не слышит крика ребенка. Пронзительного, резкого. Фу, да это же филин!

Толя подтянул одеяло к подбородку. Самое уютное, теплое – то, что ты нагрел собственным телом. Чтобы не разбудить мать, Толя старается не шевелиться... Посмотрел на нее и тотчас отвел глаза, боясь, что она проснется от взгляда. Но напряженно заломленные брови уже вздрогнули, глаза открылись – в них испуг, вопрос:

– Что ты? Спи.

«Моряк» посматривает на часы, вверх смотрит. Но шест в руки не берет, хотя искры жадно растекаются по саже. Сидит и трет синюю щеку. Будто забывая, что люди спят, промывает слова песни, тут же, спохватившись, послушает треск костров, потом опять тянет:

– «Я люблю... про прежнее... бывшее... в поздний вечер... близким... рассказать... далеко... за снежную Сибирью...»

– Ты бы, Петенька, гармонику взял, – посоветовал с лютой ласковостью сонный голос.

А кто-то, видно не спавший еще, охотно подключился:

– Была у волка одна песня, и ту «моряк» украл.

Опять проснулся Толя и какай-то миг непонимающе глядел на пламяверху. Будан словно раздался вширь, распираемый светом.

Над головой плещется, несется стремительный, красный поток, а мысли после сна такие спокойные. И кажется, что сон все еще длится.

– Чемодан бери, быстрее ты! Где сапоги, шапка? – сердитый голос матери.

Меж костров испуганно-весело мечутся фигуры людей, а вверху трещит пламя. Черт, будан горит!.. Толя подскочил.

И вот партизаны любят столбом огня, лижущим вершины елей и сосен. Рой искр радостно несется в небо, просеиваясь сквозь сучья деревьев. Гудит пламя. И – стреляет.

– Кто патроны оставил?

– Это когда будан крыли, порастеряли.

– Отходи дальше: мину забыли!

И тут же – глухой взрыв: красный столб округлился, взметнулся вверх.

Погорельцы растерянно, но с интересом глядят, как их хоромы заревом взлетают в небо.

А для соседей – настоящий праздник.

– В третьем взводе дезинфекция.

– Пионерский костер. Дневальные у Вашкевича любят, чтобы тепло и светло!

Высокая фигура в огненно поблескивающей черной тужурке гремит на весь лес:

– Хоть выгреемся-а!

Это Царский – командир первого взвода. У него выговор чисто полешуцкий, но лицо не то грузина, не то молдаванина. Возле него самые языкастые. Тут и Баранчик. Этот просто пляшет, на лице самые невероятные гримасы.

Досыпать ушли к соседям. Завалили все нары, проходы. Пробираясь на свое место, остролицый командир второго взвода Железня сказал, хмуро улыбаясь:

– У нас в деревне говорили: «Пустить постояльца – все равно что положить борону посреди хаты».

Закончил без улыбки:

– Ни борон там теперь, ни хат...

Утром взялись возводить новое жилье. Рубили жерди, еловые лапки. Соседи приходили «помогать». Стоят – руки в карманах, – поощряют:

– А работнички ничего!

– У них это просто: захотели – сгорели, захотели – построили.

Царский стоит возле своего будана, в окружении своих хлопцев. Скажет и сам же: го-го-го! Кричит издали:

– Сегодня у тебя, Вашкевич, костер будет? Давай. Погреемся.

К вечеру, уставшие, с черными от смолы руками, зажгли костры в новом доме. Тихо пели песни. Разванюша подыгрывал.

А ночью всех поднял радостный крик дневального:

– Царский горит!

II

Уже месяц, как Толя пришел в партизанский лагерь, а он все еще неизвестно кто. Нет, он не в хозвзводе, до этого не дошло. Но и не боец. Для таких, как он, тоже есть название. И даже песенка: «Лагерный придурок... там-та-рам...» Ну и пускай придурок. Но веселого в этом мало. Только и отдыхаешь от затыжной, злой обиды, когда пошлют в деревню. Соломы, например, привезти. В деревне и Толя партизан. Кому известно, что винтовка чужая?

Но если правду сказать, и в деревне нет у него полной партизанской радости. Он даже побаивается. А вдруг какой-нибудь дядька, который накоротке с партизанами, махнет рукой:

– Иди, иди, тоже нашелся! Какой тебе еще соломки?

Что тогда делать, как поддержать партизанское достоинство? И вот Толя напускает на себя строгость вооруженного человека, спрашивает по-партизански требовательно, но и по-партизански дружески:

– Хозяин, как у тебя с солодкой?

И сам себя видит. Глазами дядьки. Что ж, партизан как партизан: подсумки, из кармана плаща торчит зеленая ручка гранаты, красная лента на шапке – наискось, сапоги разбитые, заметно, что извели дальних дорог... И лицо свое видит: дружески-строгое. И голос свой слышит: незнакомо басовитый.

Бородатый, в рубахе навывпуск дядька идет к хлеву.

– Охапок-два возьми. Дал бы больше, ды бачишь – пусто, весна.

– Я у других еще, – охотно соглашается Толя.

Кое-как насобирал приличный возок. Глядя вдоль улицы, по-весеннему черной и по-весеннему солнечной, прикидывал: в какую хату идти завтракать? Высматривал, где нет белых занавесок и вазонов в окнах. Вот эта. Окошечко, как рот столетней старухи: пустое, перекопилось. Тут уж наверняка ни одной девушки. Можно и поесть спокойно, и побеседовать, не краснея.

– Хозяюшка, – с порога (порога, собственно, нет, да и пола тоже) заговорил Толя, – молока попить... поесть не найдется?

Завтракал в лагере, но это не в счет. Побывать в деревне и не побаловаться кислым молочком (партизаны его называют по-своему, весело: «гром») – о чем же тогда рассказывать будешь, вернувшись в лагерь?

От печи на Толю подслеповато смотрит старуха. Или еще не старуха? Не разберешь... На голове у нее теплый платок, хотя ноги босые. Всматривается она долго. А чего, собственно, смотреть? Партизан как партизан...

– Ну, то чакáй, – говорит наконец старуха, – вот поспеют паронки.

Это уже разговор – обождать можно. Толя сидел на вытертую до глянца и широкую (просто лечь хочется) лаву, наглухо приколоченную к темной стене. Винтовка в коленях, глаза на улице: деревня своя, но все равно беспокойно, если не видишь, что делается за окном..

Мама уверена, что попросить поесть – мука мученическая для ее сыновей. Она по Алексею судит. А чего тут стесняться, если рассуждать по-взрослому? Если бы ты просто так просил. Но ты ведь – партизан.

Старуха, прижимая к уху платок, вышла в сени и плотно прикрыла за собой дверь. Долго колдовала там, может, в подпол, а может, на чердак лазила. Кажется, что закрытая дверь присматривает за тобой. Такое чувство, что ты не один, что вас двое осталось в хате. Но Толя и не думает интересоваться тайником хозяйки. Наконец вернулась. Колдовала она не без толку: в руках большая глиняная миска творога, соблазнительно желтого от густой сметаны. Это тебе не лагерная перловка!

– Ешь, сынку, пока можно.

Толя придвинулся к столу. Старуха выхватила из печи чугунок, подержала его, ловко и ласково, как младенца, над ушатом, потом понесла к столу. И прямо на скатерть вывернула сочную с медовыми пригарками картошку.

– А соль наша сам знаешь.

Сняла с полки черепок с водой. Толя обмакнул картофелину – горько, а не солоно. Удобение теперь идет вместо соли.

– О, есть! – вспомнил Толя. – Вот осталось.

Не осталось, а Толя специально немножко соли взял в санчасти.

– Ну, то и ешь, сынку.

– Нет, это вам.

– Ну, то спасибо. Ты хоть не один у матери?

Сейчас Толю начнут жалеть. Баба уже и локоть на ладонь положила, щеку подперла. Все как по писаному.

– Нас двое, – поспешил успокоить ее Толя. – Брат еще. Она тут, с нами.

«Она» – это мама.

– Бедная. Лучше, когда не вместе. Вы не будьте дурнями. Мой тоже лез, больше, чем всем, надо было... И осиротил мати.

Толя с беспокойством взглянул на женщину. Нет, глаза пока сухие. Запавшие, как давно высохшие озера.

– Мой на железке подорвался.

«Железка» у бабы звучит привычно, как домашнее, *сыново* слово.

– Все конца войны чакáют, а я не знаю, – чего жду. И господара моего забили, когда немцы деревни жгли.

Не умеет Толя поддерживать такие разговоры. Но сидеть и молча жрать тоже неловко.

– Ты ешь, сынку, я для себя говорю.

Возвращался в лагерь. Гребля, что соединяет деревню с лесом, полузатоплена талой водой. Ноги у лошади проваливаются, возчика трясет, как больного, того и гляди, сползешь в грязь вместе с соломой. Каким-то идиотом чувствуешь себя: внутри екает, голова дергается, кажется, что уши сделались длиннее.

Дотрясся до сухой дороги. Теперь выехать на просеку, потом еще одно болотце и – лагерь. Даже странно, что для многих, очень многих, это место так недосыгаемо, так таинственно. Перебрались сюда недавно. Лагерь здесь настоящий, надолго: не шалаши, а большие – каждая на целый взвод – землянки. Окна, двери – просто город.

Въехав в лес, Толя вытащил из подсумков три медно сверкающие обоймы патронов. Выменял он это богатство за авторучку. Все равно чернил нет, да и ни к чему они. Стихи можно и карандашом писать, лишь бы писалось. Когда жил дома, вроде хотелось. Особенно получалось о партизанах. А тут почему-то не тянет. Тут даже Пушкин долго не побыл, которого прихватил из дома. Вначале все было, как в Толиных мечтаниях. Пушкина встретили как старого знакомого, который явился очень кстати. Вечером, после ужина, когда половина людей уже уляжется, а вторая толпится у печурки, у коптилки, кто-нибудь обязательно вспомнит (Толя уже давно ждет, чтобы вспомнили):

– А ну, еще «Полтаву».

– Где Толя? У него голос, как у молодого петушка.

Слушали охотной. Толя был горд, счастлив, он чувствовал себя нужным и *при Пушкине*. Потом – будто ударили – он обнаружил: выдирают листы. Толя громко сказал про это. Зашумели.

– «Полтаву»? Цела?

– «Цыгане» что! Цыгане курей любят. Как немец.

– Эй вы, гады, дымари чертовы, хоть «Полтаву»-то не скубите!

С обидой слушал Толя совсем не возмущенные, а скорее веселые голоса. Он стал прятать книгу. И позабыл о ней. А когда вспомнил, вытащил из соломы – в руках была обложка да «Повести Белкина». Проза только и осталась.

Лежа на подводе, Толя перебирает в пальцах патроны, ищет, который с вмятиной. Смотрит, во что бы пальнуть. Камень под дубом сереет, совсем как спинка зайца. Толя раскинул ноги на соломе, прижал приклад к плечу. Нет, трясет. Придержал коня. Целился, и все внутри сжималось от знакомого ожидания: сейчас толкнет в плечо, и камень будто взорвется. Знаешь, что это произойдет, а всякий раз не верится. Вот так прицелиться в немца, вот так нажать... Осталось – палец и то, что сопротивляется ему, да еще то, что видит глаз. Неумолимо хлестнуло по камню, спинка его из серой мгновенно сделалась темной.

Торопливо выбросил гильзу и дернул вожжи. Винтовку втиснул в солому под брюхо себе. До «черной» поляны, где расположен пост, ехал минут двадцать – не спешил. Поляна действительно черная: везде выворотни, ямы, будто прошел здесь большущий плуг. И редкие кривые березки. Белеют изогнуто, как слабый дымок.

– Ты стрелял? – спросил у Толи часовой. Стоит, прислонясь к ели. Одна пола кожуха черная, другая – желтая. – Оружие у охотников этих отнимать, патроны переводят.

В окопчике за пулеметом валяется Авдеенко. Парень очень молодой и очень нахальный. Вот и сейчас:

– Эй, возчик, давай тащи сюда соломы.

Толе не жалко, но тут будто и не слышал. Авдеенко вскочил на ноги и потянул к себе целый пласт – чуть Толю не сволок.

– Ох, эти мне...

Не досказал, но Толя знает слово, которое не было произнесено.

Въехал в густой, как щетка, лес. Ель тут болотная, тонкоствольная, но очень прямая. Сразу сделалось сыро, холодно. Кое-где жметесь снег к земле. Сразу почувствовал, что ноги в рваных сапогах противно мокрые, холодные. И день совсем не такой солнечный, как казалось. Пока продерешься к своей землянке, половину соломы оставишь на сучьях. Ну и ладно. Бобка, ездового, не видно. Наверно, побежал к кухне. Там и рассказать и послушать можно. В землянке хрипит-шипит под тупой иголкой потертая пластинка: «Саратовские страдания». Толя спустился по ступенькам. И будто ослеп сразу. «Весна очи крадет», – сказал вчера Бобок. У окна склоненная фигура щуплого и всегда холодно-язвительного Носкова. Не пошевелится. Саратов, конечно, его довоенное, но пластинка все же противная.

Толя швырнул гранату на нары. В углу таких, без запалов, много валяется.

На нарах сидит Головченя. Борода его слилась с полумраком, заполняющим будан. От этого лицо кажется уродливо срезанным снизу. Но вот Толины глаза стали привыкать к темноте, и сразу выросла борода у Головчени, широкая, веселая. Испытывает пружину своего «Дегтярева», стучит затвором. Делает он это с удовольствием человека, разминающего затекшие мышцы.

– Не звякай. Ты! – кричит Носков.

В землянку спустилась мать. Очень озабоченная.

– Привез? В первом взводе подозрительный больной. А тут в соломе всего. Смените. Вечером пойдете в баню в Костричник.

Толя молчит.

– Устал? – не поняла мать. – Ну вот, а просишь винтовку.

И она еще! А все из-за нее.

Толя повесил плащ на столб, подпирающий крышу. Достал баночку с ружейным маслом. Почистил винтовку и завалился на нары. Заляпанный грязью сапог прилепился к краю ватного одеяла, все еще назойливо выделяющегося своей шелковой желтизной. Толя не убрал ноги. Одеяло это, когда еще в Селибе жили, мама отправила в деревню. Там и велосипед от полицаев

прятали. Как-то прибежала в Лесную Селибу мамина знакомая Павловичиха, очень расстроенная, напуганная.

– Забрали ваш велосипед. Партизаны.

Добрая женщина боялась, что ей не поверят.

– Я им говорила, а они: «Нам нужно, Корзуниха не обидится». Да вы его знаете, был примаком в вашем поселке. Помните: Баранчик? Черт такой глазастый.

Обижаться на партизан, пожалеть для них! Мама успокоила Павловичиху:

– Не расстраивайтесь, не то люди теряют.

А Толя просто счастлив был. Он ходил по шоссе, смотрел на немцев, полицаев, гордо и ехидно усмехался: «Хожу перед вами, а на моем велосипеде партизан сейчас катит».

И вот тут, в лагере, встретился со своим велосипедом. Обидная встреча. Разванюша вдруг приволок его: на одних ободах, с позеленевшим от плесени седлом.

– Ваш, Анна Михайловна. Баранчик затащил его теще своей. Мне подсказали в гражданских куренях. Забрал.

Мама только нахмурилась: «Зачем?» А Толя, вспомнив, как гордо ходил он по поселку, готов был доломать велосипеду кости. Лежит и теперь под парами, все еще блестя спицами, будто в насмешку.

Снаружи уже слышен тонкий, неприятно пронзительный голос. Помощник командира взвода Круглик. Спускается в землянку лобастый и ноет, ноет. Сам как медведь, а голос бабий.

– Куда Бобок надевался? Кто тут есть? Толя?.

Ну конечно же Толю увидел. Других будто и нет.

– Отведи коня на поляну.

Говорит так, будто ничего в этом нет обидного. А вот Носкову или Головчене не скажет. Они – партизаны.

Возле лошади уже хлопочет Бобок. И руки и язык в работе.

– Та-ак, пустим тебя на шпацир. Вылазь, брат, из хомута. Иди, короста зимняя. Толя тебя отведет, где солнышко, там и Буланок, друг твой по оглоблям.

Толя взял палку и погнал коня, фыркающего, радостно спотыкающегося. Толя любит возиться с лошадьми, но теперь, когда он только лагерный придурок, он ничего не хочет ни уметь, ни любить. Сдохнуть бы тебе, одр проклятый! За тем ли Толя в партизаны шел, чтобы прогуливать тебя. Огрел палкой по крупу, палка неприятно отскочила, как от дерева. Сделалось совсем нехорошо. А коняка вроде собрался бежать, даже качнулся вперед, но и шага не пробежал. Толя обошел его и направился к поляне. Эта поляна сухая, окружена белой стеной берез. Называют ее «круглой». Тут выстраивается отряд в торжественных случаях: перед уходом на операцию или когда приказ зачитывают. Парадная поляна. Первого мая новички здесь присягу принимать будут. И Толя. Или тоже не дорос?

Присел на корточки, прислонясь спиной к дереву. Березы все еще безлистые, и кажется, что выбрались они на поляну из-за густых елей, чтобы отогреться. Кора пахнет грибами. И во рту сладкая горечь, точно ты грыз ее, кору эту. Даже ртом, как заяц, чувствуешь весну.

Толя прикрыл глаза и сразу один на один остался с солнцем, глядящим, ласковым. Открыл глаза и сразу вскочил. Взвод возвращается! По одному, по два выходят на поляну. Побежал навстречу.

– Алексей, – крикнул идущий впереди «моряк» Зарубин, – братуха твой!

«Моряк», картинно перепоясанный пулеметной лентой, вроде очень доволен, что увидел Толю. Конечно, он рад тут любому дереву, любому пню: домой возвращается. Даже Алексей улыбается брату. На нем тоже отсвет общей возбужденности. Такими приходят с удачных операций. Но как Алексей оказался со взводом? Взвод на «шоссейку» ходи, а брат – с группой Пахуты снова на железную дорогу. Вон и сам Пахута – весело веснушчатый, золотозубый

командир подрывников. Вася Пахута вовсе не такой необыкновенный, как показался в самую первую ночь. Но всегда такой же дружелюбный, веселый.

А великан в зеленом мундире тащит на спине неразобранный станкач.

– Поднажмись, Фомушка, деревня близко, – поощряют его партизаны. Так это и есть Фома Ефимов – Толя о нем наслышался! Не о каких-то особенных делах его, а просто так. Видно, есть люди, о которых другим людям радостно вспоминать, слово сказать. Этот Фомушка из таких.

– Поучу вас носить, – густо проклокотал бас Ефимова. Косо блеснул глаз из-под взмокшего мягкого и светлого чуба. – А то торгуются, как бабы.

– Ничего, хлопцы, после курортов ему в самый раз.

– Давненько не таскал. Зря и коня митькинского утруждали. От самой «варшавки» допер бы.

– А ну, бери! – прохрипел Ефимов.

Побагровев, приподнял пулемет на руках, вынул голову из стального «хобота» и, перехватив рукой станкач под ствол, подал одному из остряков. Но тот не принял.

– Спасибо, Фомушка, пользуйся сам.

Ефимов поставил пулемет на дорогу. Колонна спокойно обтекала неожиданное препятствие. Командир взвода с шинелью на руке стоял сбоку и наблюдал. Возле пулемета остановился Молокович – тихий парень с некрасиво вытянутым подбородком и наивными большими глазами. Сейчас остановится и Алексей: ему всегда за других неловко. Толя готов был уже подбежать, помочь, но вовремя спохватился. Подумают еще – подлизывается. Отсидживается в лагере, а тут – готов.

Какие они все особенные, когда возвращаются с дела. Даже лицо Застенчикова, обычно такое зябкое, недовольное, светится сегодня тихой, доброй усталостью. Поравнялись с постом.

– Мышей всех в яме этой передушили? – спрашивают у часовых.

– А вы там – курей? Фрица хоть одного кокнули?

– Грузовую и легковушку, – сказал Молокович и с каким-то радостным изумлением добавил: – Генерала или почти что. Мозги аж на заднее сиденье.

Шли через лагерь к своей землянке, – кричали, смеялись. Хозяева возвращаются в дом, за которым присматривали бедные родственники.

– А суп здесь тот! – с удовольствием отметил «моряк», заглянув в котелок, оставленный на столе. Длинный стол возле землянки – новинка. Толя и Бобок сколотили его.

– Молодцы ребята, – отметил работу «придурков» добряк Молокович. – Хоть не в колени будем котелок ставить.

Из землянки не спеша вышел Носков. Вслед ему патефон хрипит «саратовские». Даже Носков чувствует себя не очень хорошо оттого, что не он – другие пришли с дела. А уж, кажется, он-то походил: с весны сорок второго в отряде. Сразу начинает язвить:

– Пришли? Ну-ну, перловки и на вас хватит. Совсем будет ни пройти ни выйти из лагеря. Заминировали каждый куст.

А хлопцы гадают:

– И как это наш Максим научился такое стряпать?

– Ему комиссар приказал, чтобы придурков не разводилось.

Весь день среди тех, кто пришел с дела, жила какая-то особенная близость, доброта. Казалось, ее видишь, как видишь летнее, горячее дрожание воздуха. Только и слышно: «Коленька», «Серег». Шумной, веселой ласковостью партизаны как бы отгораживаются от тех, кто не ходил с ними, кто «сидел» в лагере. Во всяком случае, Толя ощущает это, он будто стену видит. Возможно, она в нем самом, но он ее хорошо чувствует, глухую, обидную стену.

Ни от кого толком не разузнаешь, что, как там было. Рассказывают, припоминают, но все какие-то мелочи, забавный смысл которых больше понятен тем, кто сам ходил, видел. Про то,

как убегал по шоссе единственный уцелевший немец и никто не мог попасть в него («длинный, как наш Светозаров»), как стукнул Фома по затылку Молоковича, когда ленту в станкаче заело. Сами рассказывают и сами же интересуются:

– И что, сразу заработал пулемет?

Но есть же у Толи в отряде брат. Он-то про свое обязан рассказать.

– Три ночи ходили к железной дороге, а потом подорвали. С цистернами. Убегать плохо было – осветило все.

Толя, конечно, привык, но иногда посмотрит, и сделается ему смешно, что у него такой хмурый, неразговорчивый брат. Мо-ор-щин на лбу!

А вот и мама. Глаза нетерпеливо-счастливые, ищущие.

– Алеша, – позвал Толя. Но тот пошел в землянку, понес вычищенную винтовку. Алексей за это время каким-то другим стал. Может, оттого, что постригся наголо. Был чуб – шапка не держалась, а теперь – как новобранец. И не для того снял свою кучерявость, чтобы показать, как не дорожит он такой роскошной вещью. (Разванюше бы Алексеев чуб, к его усикам!) Захотелось – снял. Брат все делает просто, без оглядки. Все несчастья в жизни Толи, все мучения от того, что он не умеет притворяться таким же бесчувственным, деревянным: я, мол, свое дело знаю, а уж потом – остальное. Брат даже и не уговаривает Толю сидеть в лагере. Ходит на «железку», и все. Само собой получается, что теперь уже от Толи зависит: бояться матери за одного или сразу за обоих.

Вышел Алексей из землянки, увидел мать и нахмурился. Дает понять, что для всяких ахов и охов есть Толя. Но мать лишь глянула на Алексея, как-то сразу будто вобрала беспокойно-счастливыми глазами. И тотчас ее вниманием завладел Пахута. Веснушки делают лицо Васьки-подрывника еще добрее, даже светлее, сразу вспоминаешь, что они – от солнца. Раздуто-круглый, затиснутый в стеганку Пахута такой беспокойный: от него и на воле тесно.

– Анна Михайловна, дороженькая наша! – зашумел он.

– Дороженькая даже, – отозвалась мать. Она смеется, говорит, и чувствуется – потому так смеется, так смотрит, что Алексей здесь, в лагере, вернулся... И Пахута тоже понимает это и потому рассказывает про Алексея:

– А он у вас настоящий лесовик. Забрался на ель – посмотреть на дорогу. А тут машины. Облапал еловые ветки, вот так, да ка-ак сиганет вниз.

– Вот дурной! – такое испуганное, домашнее вырвалось у матери.

Все рассмеялись.

Как-то очень незаметно мать подошла к Алексею, глядит на стриженую голову, на его обновку – ярко-синие галифе. Смотрит удивленно, с некоторой опаской.

– Это что у тебя?

– Брюки же. Из чертовой кожи.

– Из полицейской, – обрадованно пояснил Толя. Он уже знает подробности.

– Он... живой? – спросила мать совсем тихо.

– Тогда был живой, – сердится брат. – Ну что ты, мама, спрашиваешь? Фома взял себе, но ему малы, а мои разорвались, когда я с дерева...

– Надо зайти к Павловичихе забрать папины, вот и Толя совсем обносился.

Переключилось внимание на Толю – Алексей сразу посветлел. И улыбается, не морща лба, и разговаривает охотно. Совсем семейный разговор. Но мама, хотя и отошла от других к Алексею и Толе, – все замечает. Молокович сильно натер ногу. Сидит разутый на новом столе, шевелит пальцами, рассматривает их внимательно, будто пересчитывает. Спросил, нет ли воды. С непонятной строгостью мать приказала Толе:

– Сходи к кухне.

Толя пошел, неся в себе тупую обиду. Мама, Алексей живут в том особенном мире, где все, кроме Толи, все, с кем ему так хочется быть. А он один, совсем один. И даже она с ним

так разговаривает. За этот месяц во взводе никого и не убило, двоих только ранило. Не убили бы и Толю. Значит, зря он столько мучился. Мог ходить со всеми, веселый, легкий. Будешь сидеть, сидеть, а потом пойдешь и в первом же бою...

Вернулся к землянке, незаметно поставил на стол котелок с водой. Кому надо – найдет. Что-то веселое рассказывают.

– Небо звездное, чистое, хоть молись, а оттуда – матюг! – Носков довольно легко воспроизвел и слова, и голос с неба.

– Расскажи, Пахута, – просят Ваську-подрывника, – не все знают.

– Да ну вас, Мохарь и так косится. Будто не он меня, а я его сволок с неба. Ну что, летим мы. Я – радистом, в Москве поужинал, думал, к завтраку вернусь. А тут во как загостил у вас.

– А что! Попал в хорошее место, так воюй. – Бобок не может не вставить словцо-другое. Он просто ногами сучит от удовольствия, когда завязывается веселая беседа. Сапоги у ездового новые, из свежесделанной кожи: сразу видно – дружит человек с сапожником. И кухню не обходит: даже голенища набелены смальцем.

– Перелетели фронт, – продолжает Васька-подрывник, светя золотом. – Вижу, и Мохарь притих. А то все рассказывал, как он затяжным прыгал. Осоавиахим, то да се. Может, когда и прыгал, но как немцам на голову пришлось – сели батареи у нашего Мохаря. Вспыхнули костры, прыгнули двое, а Мохарь никак. Я его коленкой под зад уговариваю. Вытолкнул, но меня тоже будто выдернуло. Был самолет, было все, а тут – лечу. Без парашюта, братцы! Отпустил он мою ногу, но тут уж я его за шею облапал. «Дергай запасной!» И, наверно, еще что-то шептал ему. Носков вот помнит, слышал.

– А молодец Мохарь, что стащил тебя с самолета, такого парня у нас не было бы! – «Моряк» Зарубин потряс Пахуту за плечи.

III

Разведчики привели в лагерь двенадцать человек, убежавших из немецкого плена. Одинаково грязные лохмотья, одинаковая чернота, положенная на лица долгим, лютым голодом. И все же некоторых сразу выделяешь. Особенно замечен веселоглазый парень, который убил топором немца-конвоира. Ходит по лагерю с немецкой винтовкой.

Нескольких определили в третий взвод. Самый пожилой, Коломиец, как сел на землю возле землянки, так и не сдвинулся весь день. На том месте и пообедал (товарищ принес котелок), там и приоделся немного. Когда примерял полотняную, плохо покрашенную, но все же рубаху, лицо его засветилось первой улыбкой.

Товарищ Коломийца – низенький, седой. Можно догадываться, что он вовсе и не старый еще, что был когда-то очень живой, подвижный. От неуходящей, виновато-радостной улыбки кожа на висках все время собрана в лучики.

Кроме Коломийца и его белоголового товарища Шаповалова в третий взвод зачислен еще один. Фамилия – Бакенщиков. Этого не сразу и заметили. Все новички уже освоились, все в обновах, не очень роскошных, но все же. А очкастый сидит в сторонке, ворох лыка у ног, колени острые, высокие, как у кузнечика. Сидит человек с узким, высоколобым лицом профессора и отрешенно плетет лапти. Смелости только и хватило лыка расстараться, попросить. Но не заметно в нем той обязательной тихой виноватости, с которой приходят в лагерь из немецкого плена.

Мама принесла ему Алексеево белье. Хорошее, почти новое. Человек поднял черные, странно горящие за очками глаза. Глаза эти как бы отдельно живут на одеревенело-спокойном лице. И поблагодарил он странно:

– Спасибо, женщина.

Толя рад за возвращающихся к жизни людей. Возле них и ему хорошо. К нему новички обращаются охотнее, смелее, чем к другим. И даже на «вы». Белоголовый, лучащийся счастьем Шаповалов вполголоса расспрашивает его, как тут «оружием разживаются».

С оружием, понятное дело, трудно. Добывают кто как сумеет. Целую неделю лазали по большому пожарищу (немцы с самолетов лес жгли). Двоим повезло – винтовки нашли. Чуть-чуть приклады почернели, подрумянились, а так – хорошие винтовки. Толе вот подсумки попались. Ходят легенды про целые машины оружия, которые в сорок первом наши зарыли в землю. Но клад никому пока не дается. Вооружаются и так, а больше, понятно, в бою.

– Конечно, конечно, – поспешно соглашается Шаповалов.

Толя не говорит, что ему и самому нужна винтовка. Все бы хорошо, но Толя знает, что через недельку-другую этот новичок станет настоящим партизаном. И увидит, какой тут партизан Толя. Тошно будет вспоминать, как уважительно смотрел на тебя этот седой человек, как авторитетно вводил ты его в партизанскую жизнь. И это пришло даже раньше, чем Толя предполагал.

Вашкевич, вернувшись из штаба, приказал дозарядить диски к ручным пулеметам.

– Бог подаст, – сердито отмахивается Носков от Головчени, который, сняв шапку, собирает патроны. Но Головчени знает, что он – не просто он, он – пулемет, главная фигура боя. И улыбается уверенно: «Хошь не хошь, а дашь». Весело ему чувствовать себя молодым бородатым нахлебником-цыганом.

– Позолоти ручку, молодец.

Толя тоже отдал обойму. Не жалко, а неловко. Будто откупается. Сегодня он опять остается в лагере. И главное – не очень огорчен этим. Вдруг начинает казаться, что именно на этот раз могло бы случиться непоправимое. Сидел, не ходил, столько терял, а тут сразу и подсу-

нешься. Что-то особенное намечается, даже тачанку со станкачом берут. И лица у всех какие то непривычно серьезные.

Молчаливый, вечно дымящий сигаркой парень (кажется, Пархимчик – фамилия его) потянулся к гармошке. Но раздумал:

– Придем, тогда...

А Толя вдруг подумал, что за все время он и словом не обменялся с этим парнем. А ведь Пархимчик – партизан. Как восторженно смотрел бы Толя в неулыбчивое круглое лицо, как рад был бы рисковать по первому слову этого парня, если бы встретил его где-либо возле своей Селибы месяца два назад. Толе вдруг захотелось заговорить с ним. Но парень уже стал в строй.

Выстроились возле землянки, и сразу видно, кто остается. Толя уловил на себе удивленный, как ему показалось, взгляд новичка Шаповалова. На плече у Шаповалова сумка с пулеметными дисками. Рядом с его белой головой борода Головчени особенно отликает смолю. Любят пулеметчики всякий маскарад. Вон и Помолотень, который при станкаче, тоже молодой, а усы отпустил. Светлые, пшеничные.

– Вымажь усы дегтем, – не раз советовал ему Носков, – а то лошадок вы с ездовым, как немцы пленных, кормите, не заметишь – сжуют усы-то.

Сегодня без усмешечек, ревниво-внимательно глядят партизаны на пулеметную тачанку. Ездовой Бобок все ходит возле своих не очень сытых лошадок, поглаживает их по крупу, будто от этого они справнее сделаются.

Мама в строю самая крайняя, на левом фланге. Она в своей плюшевой старенькой жакетке, под рукой – большущая санитарная сумка. Тень лежит на ее лице. Лицо Нади такое же отрешенно-серьезное, она тоже с сумкой, в мужском сером плаще. Косы уложены вокруг головы.

На другом фланге стоит, привычно опустив плечи, Алексей. Смотрит прямо перед собой.

Командир взвода прошел вдоль строя. Объявил: через десять минут общее построение. Куда пойдет отряд, не говорит. Да и знает ли сам? Никого не обижает, что это тайна. Наоборот, спокойнее. Больше уверенности, что язык не обгонит ноги.

Мама вышла из строя и сразу заулыбалась Толе. Надя смотрит издали. Ее малые, Инка и Галка, остались в гражданском лагере, и похоже, что Надя смотрит на Толю потому, что не может сейчас видеть своих.

Вполголоса мать объясняет, как быть ему, Толе. У Павловичихи два чемодана спрятаны. Там есть синие брюки. И белье. Пускай Толя сходит. С кем-нибудь, попросит кого-либо...

Мать объясняет очень подробно, и начинает казаться, что то, о чем она сейчас говорит, действительно самое главное. Или, может быть, улыбка ее – успокаивающе тихая – мешает понять до конца страшный смысл ее слов.

– В желтом чемодане подошвы... Хорошие, кожаные, еще папа доставал. Попросишь Берку, я с ним говорила, сделает тебе сапоги. А то твои совсем...

И Толя смотрит на свои сапоги, поспешно кивает головой.

Снова все, кроме Толи, стали в строй. Толю вдруг оглушила мысль, что мама действительно может не вернуться. И Алексей может не вернуться. Толя смотрит на них, они еще здесь, непоправимое еще не случилось. Но где-то там, впереди, на десять, на двенадцать часов впереди, все словно уже и произошло. Толя видит мать, она напоминающе улыбается ему («Так ты сходи, у Павловичихи...»), а где-то впереди это уже невозможно. Все возможно, кроме этого, самого простого: она смотрит на него, улыбается ему...

– Шагом арш! – скомандовал Вашкевич. Взвод не в ногу тронулся. И будто пустил кто-то неумолимые часы...

Отряд собирается на «круглой» поляне. Тут лица у людей совсем иные: много улыбок. Любой шутке не дают погаснуть, будто уголек с руки на руку перебрасывают.

Четыре взвода выстраиваются, образуя прямой угол. Перед взводом – командование отряда. Комиссар Петровский и начштаба Сыровкаш чем-то очень похожи. Командир отряда Колесов рядом с ними выглядит и полноватым, и слишком, не по-военному, добродушным. Для Толи эти люди не просто командиры. Они еще и история отряда. От Сереги Коренного Толя многое узнал. Сергей тоже живая история отряда. Вон стоит рядом с Носковым, такой же, как Носков, щуплый, в немецком мундире, щурится напряженно, будто от постоянной головной боли. Лицо у Сергея веснушчатое, но совсем не так по-детски, как у веселого Васи-подрывника. Словно пепел, эти веснушки на нервном лице Сергея, от них оно еще темнее.

Он не очень разговорчив, этот Сергей. Но стоит кому вспомнить про сорок первый год, про начало сорок второго, и тут Коренного только слушай. Когда Коренной рассказывает, он весь горит. Самое главное, самое интересное было, оказывается, тогда, вначале: первые партизаны пытаются остановить идущие на Полесье танки, «забавная война» с симпатичными ребятами – словаками («они в одном конце деревни располагаются на ночевку, мы – в другом»), свирепые схватки с карателями, отчаянные хлопцы, погибшие в первых боях.

Сергей Коренной многое знает о людях, которые сейчас командуют отрядом, взводами. Много, что случилось в отряде, он откровенно не одобряет. И его самого не все любят, потому что он – партизан сорок первого года – все еще рядовой. Но попробуй отзовись неодобрительно о ком-нибудь, кого он недолюбливает и кто его тоже не жалуется, если этот кто-нибудь – «старый» партизан. Вспыхнет, загорится:

– Кому еще походить да походить надо, а уже потом искать хуже себя.

Толина память жадно впитывала рассказы о том, как начиналось: о первых боях, о первых людях.

Когда смотришь на лицо комиссара Петровского – некрасиво суженное книзу, с высокими, будто подпухшими, скулами, когда видишь его узкие и твердые глаза, легко рисуешь себе тот бой, за который ему прислали из Москвы орден Красного Знамени. Вот такой неулыбчивый, высокий, остроплечий входил он в Зубаревку.

– Комиссар, немцы! – крикнул адъютант.

Петровский успел прыгнуть с мостика в канаву, адъютант не успел, упал замертво. А деревня вдруг ожила. Зеленые, черные мундиры – много, отвратительно много их, а против них – вот эти узкие, с серым блеском глаза. Автомат – на одиночные, прицельно – щелк, щелк. А тех много, им просто весело, что их так много. Они не очень и остерегаются, щелчков его и не слышат. Но прошел час, второй. Жители потом рассказывали, как запаниковали немцы, полицаи, когда вдруг обнаружили, что у них – восемь мертвых. А тут ночь скоро. Подобрали убитых, раненых и быстренько уехали. Петровский поднялся и даже прошелся по деревне из конца в конец.

Видишь эти глаза, эту острую, угловатую фигуру, резкие движения, взгляд в упор и хорошо представляешь, как опешили партизаны, бывшие окруженцы, которые сговаривались отделиться от отряда, уйти от Колесова, от «этого бухгалтершишки», когда вдруг к ним в землянку ворвался Петровский и, ни слова не говоря, отхлестал их по щекам.

Начальник штаба ростом чуть пониже Петровского. На нем такая же белая, в мелкое колечко кубанка, такая же отороченная мехом по бортам поддевка. И упругость в плечах, в коленях та же – военная. Но лицо с черным мазком усиков – округлее, мягче. Выпуклые глаза – горящие чернотой, изменчивые, вспыхивающие. Сыровкаш тоже история отряда. Это он, живя в городе по фальшивым документам, связался с партизанами и вывел в лес большую группу окруженцев. С ним и Петровский пришел. Присоединилась эта группа кадровиков к «Чапаю». С неласковой иронией «Чапаем» называли в деревнях Пушкиря – командира небольшого отряда, одного из первых. В большой папаше, весь нарасхлест, с пьяным бешенством в очах, каруселил «Чапай» по деревням. Из первого же боя, в котором участвовали Сыровкаш

со своими хлопцами, Пушкарь сбежал. Потом появился – верхом на лютom жеребце – и давай ругать всех («Почему командира бросили?»).

Сырокваш оборвал его (легко представляешь, как черно вспыхнули эти выпуклые глаза):

– Какой ты командир! Ты нам не командир.

Пушкарь шумел, хватался за папаху, за бок (но не за пистолет), грозил каким-то высоким покровителем.

– А наш командир – вот!

И Сырокваш показал на человека, которого перед этим допрашивал, на Колесова, у которого был документ от райкома.

– Вот... его специально оставили.

Очень хотелось Сыроквашу побить козырь Пушкаря, который не уставал хвастать и пугать высоким покровителем. Покровитель – командир самого крупного в той местности отряда – явился через два дня с пышной свитой автоматчиков. С ним разговаривали уважительно, но тоже твердо. Забрал он Пушкаря и всех, кто хотел уйти с «Чапaeм», и отбыл в свое Замошьe.

Так неожиданно для всех и, пожалуй, для самого себя Колесов стал командиром.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.